

солнце гаснет
и к сладкой печали зовёт
первый снег застывает
скорлупкой яичной
и вокзальной разлуки
густой креозот
наполняет дыханье
и сердце девичье

кто-то тягой печной
за ночь вытянет душу
размотает-распустит
как выцветший свитер
и покатится мячик-
клубочек Танюшин
вдоль реки
что течёт в океан ледовитый

а бывало подкинешь
и ждать устаёшь
а когда упадёт
снова к небу взлетает
а бывало снежинку
в ладошке несёшь
и снежинка
в горячей ладошке не тает

а сегодня
ты книжку открыла с утра
лепесток незабудки
напомнил о лете
и тряпичная кукла
подружка-сестра
на вопросы твои
не сумела ответить

а сегодня
как выпавший снег холодна
как пустое жильё
после тихого взлома
ты весь вечер глядишь
в перекрестье окна
непомерно силой
к закату влекома

ах Татьяна
скажи
что с тобою случилось
пошатнулось
упало
погасло как свечка

водовозы уже возвращаются с речки
с ними верное слово
и светлая сила

кто-то входит
и мячик роняет в избе
перепачканный сажей
как старая вьюшка

но Татьяна сказала
оставьте себе
это просто пустая
и злая игрушка

* * *

Мне не впасть бы ни в прелесть, ни в ересь.
Пусть ни жалость, ни ярость не ест.
Но, с другими гордынею мерясь,
про нательный свой помнить бы крест.

Ночь затянута кирзовым берцем.
Вышиванку под ватник надев,
кто-то греет холодное сердце
и читает стихи нараспев.

Да и сам я за камерной «решкой»
с оперившимся вдруг оперком
на допросе с ответами мешкал,
о победе мечтая тайком.

Пустобрёха ты, ночь, растеряха.
Мало крови – ещё попроси...
Охрани меня, ангел, от страха
и от смелости лютой спаси.

Перемешаны ладан и миро.
Только б слышать сквозь звон бубенцов,
как плывёт и возносится: «Мир вам!» –
над церквушкой в тринадцать венцов...

БАБУШКА С УЛИЦЫ РУТГЕРСА

Говорила бабушка: «Жизнь – плакун-трава.
За Ивана Силыча вышла в двадцать два.
Завалило милого в шахте стволовой.
И навек осталась я смолоду вдовой».
Принесли ей валенки, выстроились в ряд.
«Это правда?» – всхлипнула.

«Правда», – говорят.

Тормозочек в торбочке, как сложила, цел.
«До обеда бахнуло – так и не поел».
Всю войну работала – тарила тротил.
Но потом конвейер ей руку закрутил.
В почтальонках бегала через райсовет.
Год спустя посватался хроменький сосед.

Заходил-обхаживал, помогал с углём.
«Чай не дети малые – веселей вдвоём».
Пятилетку прожили, деток Бог не дал.
На работе мужниной по ночам аврал.
Как другие, сладили б, да в селе чужом
закололи беглые сокола ножом...

Вот и стала бабушка жить да попивать.
Квартирантам на зиму комнатку сдавать.
«Подзабыла что-то я, кто у нас теперь?
Говорит-то правильно, а пойдй проверь».
И трясёт бутылочку, смотрит в потолок:
«Что ж такие маленьки делаешь, милок?»
Квартирант за выпивкой к руднику бежит,
а трамвай четвёрочка рядом дребезжит.
В небесах шахтовые звёзды-фонари
из забоя вечного светят до зари.
Из забоя вечного, шахты стволовой...
Чтобы жил и здоровствовал город вековой.

* * *

Горит закат. Сгорают Масленица в парке.
Лиловый дым с какой-то горечью в довеске.
И тополя растут, как стрелчатые арки,
а в них софийские мозаики и фрески.

37
Стекло витражное течёт расплавом вязким.
Густой орган как повторение узора.
Но не они звучат, а темперные краски
рублёвской радости Успенского собора.

Желток яичный здесь вернее, и движенье
сердечной крови – в синеву небес весенних.
Здесь слово «смерть» обозначает
лишь рождение.
И всё, что выпало, даётся во спасенье.

Как бой кулачный и катанье на каурках.
И воскресенье с поминальными блинами...
Когда душа твоя – сырая штукатурка,
как будто мать сыра земля под пеленами...

И в этой влажности и слёзности до дрожи
сказать: «Прости меня, и я тебя прощаю».
Пусть будет совесть нам стыдливости
дороже.
Пусть тёмный демон наши души не смущает.

Когда мы сами обмолотная полова,
сухая краска из ковыльного пространства...
Господь меж нами как связующее Слово.
И вербный воздух православного славянства.

* * *

Когда разлука накрывает меня с головой
и ночная тоска затягивает в свою трясицу,
я покупаю спирт на улице Луговой
и пишу письма мёртвому сыну.

И дым пороховой завывает в трубе.
И падает на снег тронутая снегурём рябина.
И поёт о своей свободе и о своей судьбе
глинобитная окраина-окарина.

Мол, сама породила, захочу – убью.
Эта наша семья, голытьба, слободка.
Самый действенный клич – это «Наших бьют!».
Не заменишь его романтикой или водкой.

Тот, кто видел смерть товарища своего,
не сменяет мстять свою на табак и сахар.
Молодость на войне ценнее всего.
А ещё ненависть и отсутствие страха.

Все мы верим в ребячестве, что не умрём.
Только давит нас время – шершавый глетчер.
На сугробике ягоды понадклёваны снегурём.
А что, сынок, на небе – оно легче?..

* * *

Ни звонка, ни звона колокольного.
На озимом сердце – борозда.
Незаметно с неба мукомольного
опустилась ранняя звезда.

Всё, что было, билось ли, болело ли,
что скулило брошенным щенком, –
всё уснёт под саванами белыми,
под шершавым ситцевым венком.

Старый друг зайдёт слегка подвыпивший.
Закурить попросит – закури.
Только как с птенцом, из жизни выпавшим,
я прошу, со мной не говори.

Я измучен тягостными встречами.
Всё труднее мне смотреть в глаза.
Даже если спросишь, не отвечу я.
Не смогу об этом рассказать.

Всё, что помню, всё, чего не помню я,
что цвело ромашкой полевой,
забросали глиняными комьями
вперемешку с жёлтой листвой.

И от скорби сердце не расплавилось.
Лишь навек прорезались слова:
«Постарайся, чтобы я поправилась.
Сделай так, чтоб я была жива.

Ты на юг, ты к морю отвези меня...»
Но, заметив жёлтый лист в окне,
прошептала тихо: «Обувь зимнюю
ты не покупай, наверно, мне...»

Сорок дней как в белом шуме прожито.
Закольцован жизненный виток.
«Бог прибрал». – «Ему виднее». Может быть.
Значит, просто не держал никто.

Старый друг о чём-то: «Будет нам ещё».
Только знаю, в горле боль ершом.
И уже с небес над новым кладбищем
экскаватор свесился ковшом.

Белый снег мой, брат мой, не растаивай.
Полежи подольше, подожди.
Пусть не режут память птицы стаями.
Не гремят весенние дожди.

Пусть в душе под тяжкими сугробами
прозревает светлое зерно.
Чтобы к сроку небохлеборобами
было Богу отдано оно.

